

Книга I

1

Одним январским вечером в начале семидесятых годов Кристина Нильсон пела в «Фаусте» на сцене нью-йоркской Музыкальной Академии.

Хотя уже поговаривали, будто на далекой городской окраине, «где-то за сороковыми улицами», скоро начнут строить новый оперный театр, который по блеску и роскоши сможет соперничать с театрами великих европейских столиц, светское общество по-прежнему каждую зиму довольствовалось потертыми красными с золотом ложами гостеприимной старой Академии. Консерваторы ценили ее за то, что она мала, неудобна и потому недоступна «новым людям», которые уже начинали пугать, но в то же время и притягивать к себе ньюйоркцев; люди сентиментальные хранили ей верность ради связанных с нею исторических ассоциаций, меломаны — ради превосходной акустики, качества, столь необходимого для помещений, где слушают музыку.

Той зимой госпожа Нильсон выступала в первый раз, и публика, которую ежедневные газеты уже научились называть «на редкость блестящей», отправилась в театр по скользким заснеженным улицам либо в собственных двухместных каретах, вместительных семейных ландо, либо в более скромных, но и более удобных «экипажах Брауна». Приехать в оперу в экипаже Брауна было столь же почетно, сколь и в соб-

ственной карете; отъезд же в нем обладал еще и тем неоценимым преимуществом, что каждый (как истый демократ) мог тотчас же сесть в первую из выстроившихся в ряд брауновских колясок, не дожидаясь, покуда под крытой галереей Академии блеснет по-красневший от холода и джина нос его собственного кучера. Великий извозопромышленник выказал редкостное чутье, подметив, что американцы хотят покидать места развлечений еще быстрее, чем туда являться.

Когда Ньюленд Арчер вошел в ложу своего клуба, занавес как раз поднялся, открывая сцену в саду. В сущности, ничто не мешало молодому человеку приехать в театр раньше — в семь часов он пообедал с матерью и сестрой, после чего не торопясь выкурил сигару в готической библиотеке, уставленной застекленными книжными шкафами черного ореха и стульями с резными спинками, — единственной в доме комнате, где миссис Арчер разрешала курить. Но, во-первых, Нью-Йорк — город столичный, и всем известно, что в столичных городах рано приезжать в оперу «не принято», а понятие «принято» или «не принято» играло в Нью-Йорке Ньюленда Арчера роль не менее важную, чем непостижимый страх перед тотемами, которые вершили судьбы его предков много тысяч лет назад.

Вторая причина его опоздания была сугубо личного свойства. Он задержался с сигарой потому, что в глубине души был дилетантом, и мысль о предстоящем наслаждении часто доставляла ему удовольствие более острое, нежели само наслаждение. Это особенно касалось наслаждений утонченных, каковыми они у него по большей части и были; теперь же минута, которой он ожидал, обещала быть настолько редкостной и изысканной, что... словом, если б он даже согласовал свое прибытие с антрепренером примадонны, он не

мог бы явиться в Академию в момент более значительный, чем тот, когда она пела: «Он любит — не любит — он любит *меня!*», окропляя падающие лепестки ромашки чистыми, как росинки, звуками.

Она, разумеется, пела не «он любит меня», а «M'ama!» — ведь, согласно непреложному и неоспоримому закону музыкального мира, немецкий текст французских опер в исполнении шведских артистов следует переводить на итальянский язык, чтобы англоязычная публика лучше его понимала. Ньюленду Арчеру это казалось столь же естественным, сколь и все прочие определяющие его жизнь условности, вроде того что расчесывать волосы полагается двумя щетками с серебряным верхом и с монограммой из голубой эмали или что в обществе никоим образом нельзя появляться без цветка (предпочтительно гардении) в петлице.

«M'ama... поп m'ama... — пела примадонна, — m'ama!..» В последнем порыве торжествующей любви она прижала к губам растрепанную ромашку и подняла большие глаза на плутоватую физиономию смуглого коротышки Капуля—Фауста: одетый в тесный фиолетовый камзол и шапочку с пером, он тщетно пытался придать себе выражение той же чистоты и невинности, что и у его простодушной жертвы.

Прислонившись к стене в глубине клубной ложи, Ньюленд Арчер отвернулся от сцены и стал рассматривать противоположную сторону зала. Прямо напротив него находилась ложа миссис Мэнсон Мингготт. Непомерная тучность старухи давно уже не позволяла ей ездить в оперу, однако на модных спектаклях она всегда была представлена кем-либо из младших членов семьи. На этот раз первый ряд занимали ее невестка, миссис Лавел Мингготт, и племянница, миссис Велланд, а чуть позади обеих облаченных в парчу матрон, не сводя завороченного взора с влюбленной

пары на сцене, сидела молодая девушка в белом платье. В ту минуту, когда в затихшем зале (во время исполнения арии с ромашкой разговоры в ложах всегда умолкали) прозвенело «Ma ma!» госпожи Нильсон, на щеках девушки выступил теплый румянец, который залил ее лицо до корней светлых волос и окрасил высокую молодую грудь до скромного тюлевого шарфика, заколотого одной-единственной гарденией. Она опустила глаза на огромный букет ландышей, лежавший у нее на коленях, и Ньюленд Арчер увидел, как кончики пальцев в белых перчатках легонько коснулись цветов. Со вздохом удовлетворенного тщеславия он снова обратил взгляд на сцену.

На декорации, как видно, не пожалели средств, и их признали великолепными даже те, кому, подобно Арчеру, довелось побывать в парижской и венской опере. Вся передняя часть сцены вплоть до рампы была застлана изумрудно-зеленым сукном. Посередине, из симметричных холмиков косматого зеленого мха, огороженных воротцами для игры в крокет, поднимались кусты, формой напоминающие апельсиновые деревья, но усеянные пунцовыми и алыми розами. Гигантские анютины глазки, намного крупнее этих роз и сильно смахивающие на узорчатые перочистки, изготовляемые восторженными прихожанками в подарок модным священникам, пестрели во мху под розовыми кустами, а кое-где, предвосхищая чудеса природы, которые создаст Лютер Бербанк, красовались привитые на розу роскошные ромашки.

Посреди этого волшебного сада стояла госпожа Нильсон в белом кашемировом платье, отделанном голубым атласом, с ридикюлем на синем поясе и с толстыми желтыми косами, аккуратно уложенными по обе стороны кисейной шемизетки. Невинно опустив глаза, она слушала страстные признания господина Капуля, притворяясь, будто не понимает его коварных

замыслов, когда он словом или взглядом многозначительно указывал на нижнее окно прелестной кирпичной виллы, под косым углом выступающей из-за правой кулисы.

«Душенька! — подумал Ньюленд Арчер, снова бросая взгляд на девушку с ландышами. — Она даже не подозревает, о чем идет речь». И он погрузился в созерцание ее сосредоточенного юного лица с чувством собственника, в котором гордое сознание мужской многоопытности смешивалось с трепетным преклонением перед ее безграничной чистотой. «Мы будем вместе читать „Фауста“... на берегах итальянских озер», — размышлял он, мешая смутные мечты о предстоящем им медовом месяце с литературными шедеврами, истинный смысл которых ему еще предстоит раскрыть своей молодой жене. Ведь не далее как сегодня Мэй Велланд позволила ему угадать, что он ей «небезразличен» (священная формула признания нью-йоркской девицы), и вот уже его фантазия, минуя обручальное кольцо, сопровождающий помолвку поцелуй и марш из «Лоэнгрина», рисует ее рядом с ним среди волшебной европейской старины.

Ему совсем не хотелось, чтобы будущая миссис Ньюленд Арчер была простушкой. Он надеялся, что она (благодаря его просвещенному обществу) приобретет светский такт и остроумие, которые позволят ей занять достойное место среди наиболее популярных дам из «молодого круга» — тех, что, по установившемуся обычаю, принимают поклонение мужчин, шутиливо их обескураживая. Если б ему вздумалось заглянуть в глубины своего тщеславия (порой ему это почти удавалось), он обнаружил бы там мечту, чтобы его жена была столь же искушенной и готовой угождать, как та дама, чьи чары почти два года слегка волновали его воображение; разумеется, желательно, чтобы она была покрепче той несчастной, — ведь слабое здоровье

так омрачало ее жизнь, а один раз даже нарушило все его планы на целую зиму.

Он ни разу не удосужился задуматься о том, каким образом можно создать и сохранить в этом грубом мире вышеупомянутое чудо из льда и огня, ему было достаточно держаться своего мнения, никак его не анализируя, — ведь того же мнения были все тщательно прилизанные, облаченные в белые жилеты джентльмены с цветками в петлицах, которые один за другим входили в клубную ложу, обменивались с ним дружескими приветствиями и критически наводили бинокли на кружок дам, являвших собою продукт существующей системы. В области мысли и искусства Ньюленд Арчер считал себя бесспорно намного выше этих избранных представителей старой нью-йоркской знати; он наверняка больше читал, больше размышлял и даже гораздо больше повидал свет, чем любой из них. Поодиночке каждый во всем уступал ему, но, взятые в целом, они «представляли Нью-Йорк», и привычка к мужской солидарности заставляла его принимать их точку зрения по всем вопросам так называемой нравственности. Он инстинктивно чувствовал, что идти здесь своим путем было бы хлопотно, да к тому же отдавало бы дурным тоном.

— Нет, вы только посмотрите! — вскричал Лоренс Леффертс, резким движением отводя бинокль от сцены.

Лоренс Леффертс был наивысшим нью-йоркским авторитетом по части «хорошего тона». Никто другой не посвятил столько времени изучению этого мудреного и увлекательного предмета; однако для такого непринужденного и исчерпывающего владения им одного лишь изучения было явно недостаточно. Стоило окинуть взглядом Леффертса, начиная с выпуклого высокого лба и изгиба прекрасных белокурых усов и кончая обутыми в лакированные туфли длин-

ными ногами на противоположном конце его элегантной сухопарой фигуры, чтобы понять: знание законов «хорошего тона» — прирожденное свойство человека, который умеет так небрежно носить столь дорогую одежду и двигаться с такой ленивой грацией, несмотря на столь высокий рост. Как однажды сказал о нем один его юный поклонник, «если кто и может посоветовать, когда надевать фрак, а когда смокинг, так это только Ларри Леффертс». А уж по части бальных туфель или лакированных ботинок авторитет его всегда был непререкаем.

— О боже, — произнес он и молча передал бинокль старику Силлертону Джексону.

Следуя за взглядом Леффертса, Ньюленд Арчер с удивлением убедился, что этот возглас был вызван появлением в ложе миссис Минготт совершенно нового лица. Это была стройная молодая женщина, ростом чуть ниже Мэй Велланд, с густыми каштановыми локонами, схваченными у висков узкой бриллиантовой лентой. Благодаря прическе и фасону синего бархатного платья, несколько театрально стянутого выше талии поясом с большой старомодной пряжкой, в ней, по выражению тех времен, было нечто «а-ля Жозефин». Дама в столь необычном туалете, казалось, совсем не замечала вызванного им любопытства; с минуту постояв посреди ложи, она высказала миссис Велланд сомнения по поводу того, следует ли ей занять место последней в правом переднем углу, после чего, слегка улыбнувшись, уступила настояниям этой дамы и уселась рядом с ее невесткой, миссис Лавел Минготт, которая занимала левый угол.

Мистер Силлертон Джексон вернул Лоренсу Леффертсу его бинокль. Весь клуб инстинктивно обернулся, ожидая, что скажет старик, ибо мистер Джексон был таким же великим авторитетом по части «семейных связей», каким Лоренс Леффертс — по части

«хорошего тона». Он досконально изучил все ответвления нью-йоркских фамильных деревьев и мог не только пролить свет на такой сложный вопрос, как степень родства между Минготтами (через семью Торли) и Далласами из Южной Каролины или родственные связи старшего поколения филладельфийских Торли с олбанскими Чиверсами (ни в коем случае не путать с Мэнсон Чиверсами с Юниверсити-плейс), но мог также назвать главные отличительные особенности каждого семейства, такие, как, например, баснословная скарденность младшего поколения Леффертсов (тех, что с Лонг-Айленда), или роковая склонность Рашуортов вступать в глупейшие браки, или же душевная болезнь, поражающая каждое второе поколение олбанских Чиверсов, из-за которой их нью-йоркские родственницы упорно отказывались выходить за них замуж — если не считать вызвавшего катастрофические последствия брака несчастной Медоры Мэнсон, которая, как известно... впрочем, мать ее была урожденной Рашуорт.

Кроме этого леса генеалогических деревьев, между узкими впалыми висками под мягкой седой шевелюрой мистера Силлертон Джексона размещался перечень большей части таинственных скандальных историй, тлевших под невозмутимой поверхностью нью-йоркского общества последние пятьдесят лет. Его осведомленность была столь велика, а память столь непогрешима, что он считался единственным человеком, способным рассказать вам, кто такой на самом деле банкир Джулиус Бофорт или что случилось с красавцем Бобом Спайсером, отцом старой миссис Мэнсон Минготт, который так таинственно исчез (вместе с солидной суммой вверенных ему денег) через месяц после свадьбы, в тот самый день, когда прекрасная испанская танцовщица, вызывавшая восторг переполненного зала старой оперы на Бэттери, отбыла морем на

Кубу. Однако эти, как и многие другие тайны были погребены в груди мистера Джексона, ибо обостренное чувство чести запрещало ему раскрывать чужие секреты, и, кроме того, он отлично понимал, что репутация надежного человека во много раз увеличивает возможность разузнавать о том, что его интересует.

Вот почему, глядя, как мистер Силлертон Джексон возвращает Лоренсу Леффертсу бинокль, вся клубная ложа застыла в напряженном ожидании. С минуту он мутными голубыми глазами из-под старческих, испещренных прожилками век молча изучал почтительно взиравшую на него группу, после чего задумчиво дернул себя за ус и сказал просто:

— Я не думал, что Минготты посмеют зайти так далеко.

2

Этот мимолетный эпизод поверг Ньюленда Арчера в состояние какого-то странного замешательства.

Его раздосадовало, что столь пристальное внимание мужской половины Нью-Йорка привлекла к себе ложа, в которой между своею матерью и теткой сидела его невеста; он не сразу узнал даму в платье стиля ампир и недоумевал, почему ее присутствие так взволновало великосветское общество. Потом его вдруг осенило, и он вспыхнул от негодования. Да уж, что правда, то правда — кто б мог подумать, что Минготты посмеют так далеко зайти!

Они, однако же, посмели, еще как посмели, ибо приглушенные замечания за спиною Арчера не оставили у него сомнения в том, что эта молодая женщина — кузина Мэй Велланд, кузина, которую в семье всегда называли не иначе как «бедняжка Эллен Оленская». Арчер знал, что дня два назад она неожиданно

приехала из Европы; он даже выслушал (без особого неодобрения) рассказ мисс Велланд о том, как она навестила «бедняжку Эллен», которая остановилась у старой миссис Минготт. Арчер вполне одобрял семейную солидарность, и одним из качеств Минготтов, которым он особенно восхищался, было именно то, что они всегда решительно вставали на защиту немногочисленных заблудших овец, появлявшихся в их безупречном стаде. От природы незлой и великодушный, молодой человек радовался, что ложная скромность не помешала его будущей жене обласкать (в домашней обстановке) несчастную кузину; однако принимать графиню Оленскую в семейном кругу — одно, а выставлять ее на всеобщее обозрение, тем более в опере, в одной ложе с девицей, чья помолвка с ним, Ньюлендом Арчером, будет объявлена через несколько недель, — совсем другое. Да, он вполне разделял чувства старого Силлертон Джексона — он не думал, что Минготты посмеют зайти так далеко!

Ему, разумеется, было известно: на что отважится мужчина (в окрестностях 5-й авеню), на то отважится и глава семейства, старая миссис Мэнсон Минготт. Он всегда восхищался надменной и властной старухой: она, всего лишь Кэтрин Спайсер со Статен-Айленда, отец которой при таинственных обстоятельствах покрыл себя несмываемым позором и которая, не обладая ни деньгами, ни положением в обществе, необходимыми для того, чтобы заставить всех об этом позабыть, сумела, однако же, соединиться брачными узами с главой богатой ветви Минготтов, выдать обеих своих дочерей за «иностранцев» (итальянского маркиза и английского банкира) и — верх наглости! — выстроить себе дом из светло-кремового камня (когда коричневый известняк был столь же обязателен, сколь фрак на вечерних приемах) в нехоженой пустыне близ Центрального парка.

Иностранные дочери старой миссис Минготт стали легендой. Они ни разу не приехали домой навесить мать, и она, как многие люди, наделенные живым умом и сильной волей, но склонные к сидячему образу жизни и тучности, философски примирилась с существованием в четырех стенах. Однако светло-кремовый дом (по слухам, выстроенный в подражание особнякам парижской знати) являл собой зримое доказательство ее духовной независимости, и она царила в нем среди дореволюционной мебели и сувениров из Тюильри времен Луи Наполеона (где она блистала в свои зрелые годы) с такою безмятежностью, словно не было ничего особенного в том, чтобы жить за 34-й улицей или завести в доме французские окна, открывающиеся как двери, вместо обычных, рамы которых поднимаются вверх.

Все (включая мистера Силлертона Джексона) были согласны с тем, что старуха Кэтрин никогда не отличалась красотой — даром, который в глазах Нью-Йорка способен объяснить любой успех и оправдать многие неудачи. Злые языки говорили, будто она, подобно своей августейшей тезке, добилась успеха благодаря силе воли, бессердечию, высокомерию и самоуверенности, которые, впрочем, отчасти искупались ее достойной и безупречной личной жизнью. Мистер Мэнсон Минготт умер, когда ей было всего двадцать восемь лет, и из недоверия ко всем Спайсерам вообще наложил строгие ограничения на пользование имуществом, но его самоуверенная молодая вдова бесстрашно шла своим путем, свободно вращалась в обществе иностранцев, нашла своим дочерям женихов бог весть в каких развращенных фешенебельных кругах, была запанибрата с посланниками и герцогами, якшалась с папистами, принимала у себя оперных певцов, дружила с мадам Тальони, и за все это время (что первым констатировал Силлертон Джексон) на ее репутации

не появилось ни малейшего пятнышка — единственно, как он всегда добавлял, чем она отличалась от своей предшественницы Екатерины Великой.

Миссис Мэнсон Минготт давно сумела снять ограничения с мужа наследства и уже полсотни лет жила в полном достатке, однако память о прежней нужде сделала ее чрезмерно бережливой. Правда, покупая одежду или мебель, она старалась приобретать все самое лучшее, но никак не могла заставить себя потратить лишние деньги на преходящие радости чревоугодия. Оттого-то еда в ее доме была такой же скверной, как и у миссис Арчер, хоть и по совершенно иной причине, и даже вина ничуть не спасали дело. Родственники считали, что скудость ее стола позорит доброе имя Минготтов, всегда славившихся богатством, но, несмотря на «готовые» блюда и выдохшееся шампанское, люди все равно к ней ездили, и в ответ на увещания своего сына Лавела (который пытался восстановить фамильную честь, наняв лучшего повара во всем Нью-Йорке), она со смехом говорила: «Какой смысл держать двух дорогих поваров в одной семье, тем более когда девочек я уже выдала замуж, а соусов все равно есть не могу».

Размышляя обо всем этом, Ньюленд Арчер еще раз взглянул на ложу Минготтов. Он убедился, что миссис Велланд и ее невестка встречают критические взгляды противоположной части зала с чисто минготтовским апломбом, который старуха Кэтрин привила всему своему клану, и только румянец Мэй Велланд (возможно, вспыхнувший от сознания, что он на нее смотрит) свидетельствовал, что она понимает всю серьезность ситуации. Что же до той, которая вызвала все это смятение, то она грациозно сидела в углу ложи, не сводя глаз со сцены и наклонясь вперед, выставяла напоказ плечи и грудь чуть более откровенно, чем позволяли себе нью-йоркские дамы, во всяком случае

те, у которых были основания пожелать остаться незаметными.

По мнению Ньюленда Арчера, мало что могло сравниться с преступлением против «вкуса» — этого пребывающего где-то вдали божества, для которого «хороший тон» — не более чем полномочный представитель и наместник. Бледное сосредоточенное лицо госпожи Оленской показалось ему вполне соответствующим случаю и ее несчастному положению, но покроем ее платья (без всякой шемизетки), обнажавшего худощавые плечи, глубоко его огорчал и шокировал. Ему претила даже мысль о том, что Мэй Велланд подвергается влиянию молодой особы, столь равнодушной к требованиям вкуса.

— Что же, — услышал он у себя за спиной голос одного из молодых членов клуба (во время дуэтов Марты и Мефистофеля все зрители разговаривали), — что же в конце концов произошло?

— Она его оставила; никто и не пытается это отрицать.

— Но ведь он же гнусный негодяй? — настойчиво продолжал расспросы простодушный молодой человек по фамилии Торли, явно вознамерившийся стать рыцарем дамы, о которой шла речь.

— И притом наихудшего сорта. Я встречался с ним в Ницце, — авторитетным тоном заявил Лоренс Леффертс. — Одна рука парализована, седой, ехидный тип. Физиономия довольно смазливая и эдакие, знаете ли, длинные ресницы. Наверняка из тех, кто гоняется за юбками, а на досуге коллекционирует редкий фарфор. Сколько я понимаю, платит любые деньги и за то, и за другое.

Все засмеялись, а юный рыцарь спросил:

— Ну а дальше что?

— А дальше она сбежала с его секретарем.

— Вот как! — Физиономия рыцаря вытянулась.

— Это, впрочем, продолжалось недолго; говорят, уже через несколько месяцев она жила в Венеции одна. По моим сведениям, Лавел Минготт ездил за нею туда. Рассказывал, что она ужасно несчастлива. Все это прекрасно, но демонстрировать ее в опере — дело совсем другое.

— Быть может, — осмелился заметить юный Торли, — быть может, она слишком несчастлива, чтобы оставаться дома.

Это замечание вызвало непочтительный смех. Юноша покраснел и притворился, будто его слова, как выражаются остряки, содержали некий *double entendre*¹.

— Однако зачем привозить с собою мисс Велланд? — тихо проговорил кто-то, искоса взглядывая на Арчера.

— О, это часть все той же кампании — не иначе как приказ бабушки, — со смехом отозвался Леффертс. — Уж если старуха за что-нибудь берется, то делает это основательно.

Действие подходило к концу, и публика в ложе задвигалась. Ньюленда Арчера внезапно охватило неодолимое стремление к решительным действиям. Первым войти в ложу миссис Велланд, объявить застывшему в ожидании свету о своей помолвке с Мэй Велланд, помочь ей преодолеть трудности, с которыми она может столкнуться из-за противоестественного положения ее двоюродной сестры, — этот порыв внезапно победил все колебания и сомнения, и Арчер поспешно зашагал по красным коридорам в противоположный конец театра.

Войдя в ложу, он встретился глазами с Мэй Велланд и увидел, что она сразу поняла его намерения, хотя фамильная честь, которую они оба почитали столь

¹ Двойной смысл (*фр.*).

высокой добродетелью, не позволяла ей об этом говорить. Люди их круга жили в атмосфере тонких намеков и туманных околичностей, и то обстоятельство, что он и она понимают друг друга без слов, по мнению молодого человека, сблизило их больше всяких объяснений. Ее глаза сказали: «Вы видите, почему мама взяла меня с собой», а его глаза ответили: «Я ни в коем случае не хотел бы, чтобы вы оставались в стороне».

— Вы знакомы с моей племянницей, графиней Оленской? — спросила миссис Велланд, пожимая руку будущему зятю.

Арчер поклонился, не протягивая руки, как полагалось мужчине, которого представляют даме, и Эллен Оленская слегка кивнула, сжимая руками в светлых перчатках огромный веер из орлиных перьев. Поздоровавшись с миссис Лавел Мингготт, крупной белокурой дамой в скрипучем атласном платье, он сел рядом со своею невестой и шепотом спросил:

— Надеюсь, вы сказали госпоже Оленской о нашей помолвке? Я хочу, чтобы все об этом знали, я хочу, чтобы вы позволили мне объявить об этом сегодня вечером на балу.

Зардевшись подобно утренней заре, мисс Велланд взглянула на него сияющими глазами.

— Если вам удастся убедить маму, — отозвалась она. — Но зачем менять то, что уже решено?

Он ответил ей одним только взглядом, и она продолжала:

— Скажите ей сами. Я вам разрешаю. Кузина говорит, что в детстве вы часто вместе играли.

Она отодвинула назад свое кресло, чтоб дать ему пройти, и, желая показать всему свету, что он делает, Арчер несколько демонстративно сел рядом с графиней Оленской.

— Мы ведь и вправду вместе играли, — заметила она, взглянув на него своими печальными глазами. —

Вы были несносным мальчишкой и однажды ухитрились поцеловать меня за дверью, но я была влюблена в вашего кузена Венди Ньюленда, который не обращал на меня ни малейшего внимания. — Она обвела глазами полукруглый ряд лож. — О, как все это напоминает мне те времена, когда все, кто здесь сидит, бегали в коротеньких штанишках и кружевных панталончиках! — проговорила она с едва уловимым иностранным акцентом, вновь обратив глаза на Арчера.

И хотя глаза эти были полны доброжелательности, молодого человека даже передернуло при мысли, что они хранят столь неподобающий образ высокого трибунала, который как раз сейчас выносит ей свой приговор. Нет ничего бестактнее неуместного легкомыслия, и он несколько принужденно ответил:

— Да, вас здесь очень долго не было.

— О, целую вечность, — подхватила она, — так долго, что мне кажется, будто я давным-давно умерла, а этот милый старый театр — не что иное, как Царствие Небесное.

Эти слова — почему, он и сам не мог бы объяснить — показались Ньюленду Арчеру выражением еще большей непочтительности к нью-йоркскому обществу.

3

Все неизменно повторялось в одном и том же порядке. В день своего ежегодного бала миссис Джулиус Бофорт никогда не пропускала театра; более того, она всякий раз назначала свой бал именно на тот вечер, когда давали оперу, дабы показать, что заниматься домашними делами ниже ее достоинства и что она располагает штатом прислуги, которая даже в ее отсутствие способна предусмотреть все детали предстоящего праздника.

Дом Бофортов (построенный даже раньше домов миссис Мэнсон Минготт и Хедли Чиверс) был в числе немногих нью-йоркских домов, имевших бальную залу, а в те времена, когда накрывать пол в гостиной грубым холстом для танцев и убирать наверх мебель уже считали чем-то «провинциальным», обладание бальной залой, которая не использовалась ни для каких других целей, окна которой триста шестьдесят четыре дня в году были закрыты ставнями, позолоченные стулья задвинуты в угол, а люстра зашита в мешок, было несомненным преимуществом, искупавшим все достойные сожаления страницы бофортского прошлого.

Миссис Арчер, которая любила выражать свои социальные теории афоризмами, однажды сказала: «У всех нас есть свои любимчики-простолюдины», и хотя эта фраза прозвучала очень смело, справедливость ее нашла тайный отзвук в сердцах многих избранных. Однако Бофорты, строго говоря, не были простолюдинами, кое-кто считал, что они даже хуже. Правда, миссис Бофорт принадлежала к одной из самых почтенных американских фамилий; это была прекрасная Регина Даллас (из южнокаролинской ветви) — нищая красавица, которую ввела в нью-йоркское общество ее двоюродная сестра, экстравагантная Медора Мэнсон, всегда совершавшая нелепые поступки из лучших побуждений. Любой родственник Мэнсонов и Ращуортов имел (как выражался завсегдатай Тюильри мистер Силлертон Джексон) *droit de cité*¹ в нью-йоркском обществе, но разве женщина, которая вышла замуж за Джулиуса Бофорта, тем самым его не утратила?

Вопрос состоял в том, кто такой Бофорт. Он слыл англичанином, был любезен, красив, вспыльчив, гостеприимен и остроумен. Он приехал в Америку с ре-

¹ Право гражданства (*фр.*).

комендательными письмами от зятя старой миссис Мэнсон Минготт, английского банкира, и быстро сделал карьеру в деловом мире, но вел рассеянный образ жизни, имел злой язык и весьма темное происхождение, и, когда Медора Мэнсон объявила о его помолвке с ее кузиной, все сочли это очередной глупостью в длинном ряду экстравагантных поступков бедняжки Медоры.

Но глупость спасает своих детей так же часто, как мудрость — своих, и спустя два года после свадьбы юной миссис Бофорт все признали, что у нее самый изысканный дом в Нью-Йорке. Никто не понимал, как совершилось это чудо. Она была ленивой, бездельной, злые языки даже называли ее тупицей, и тем не менее, разодетая как идол, увешанная жемчугами, с каждым годом все более молодая, белокурая и прекрасная, она царствовала в массивном коричневом бофортском дворце и, даже не шевельнув узким кольцом мизинчиком, собирала вокруг себя весь свет. Знающие люди утверждали, будто Бофорт сам муштрует слуг, учит повара готовить новые блюда, объясняет садовникам, какие цветы выращивать в теплицах для украшения обеденного стола и гостиных, варит послеобеденный пунш и диктует жене записочки к ее подругам. Если так, то все это совершалось за закрытыми дверями, а к гостям выходил гостеприимный беззаботный миллионер, который появлялся в своей собственной гостиной с небрежным видом гостя и говорил: «Вы не находите, что у моей жены изумительные глоксинии? Знаете, она выписывает их из лондонского ботанического сада Кью».

По общему мнению, секрет мистера Бофорта заключался в том, что он не моргнув глазом умел выпутаться из любой переделки. Можно было сколько угодно шушукаться насчет того, как междунаро-

банк, в котором он служил, «помог» ему покинуть Англию, — он игнорировал этот слух подобно всем остальным и, хотя совесть делового Нью-Йорка была ничуть не менее чувствительной, чем его нравственные принципы, всегда выходил сухим из воды, между тем как весь Нью-Йорк не выходил из его гостиных, и уже свыше двадцати лет люди говорили: «Мы едем к Бофортам» — так же безмятежно, как если бы речь шла о миссис Мэнсон Минготт, да к тому же еще с приятной уверенностью, что там их ждут жареная утка и тончайшие выдержанные вина, а не теплая «Вдова Клико» урожая неизвестно какого года и разогретье крокеты из Филадельфии.

Итак, миссис Бофорт, по обыкновению, появилась в своей ложе как раз перед арией с драгоценностями, а когда она в конце третьего действия, опять-таки по обыкновению, встала, накинула на свои прекрасные плечи мантию и исчезла, Нью-Йорк уже знал, что бал начнется через полчаса.

Ньюйоркцы чрезвычайно гордились бофортовским домом и любили показывать его иностранцам, особенно в день ежегодного бала. Бофорты одни из первых в городе приобрели красный бархатный ковер, который их собственные лакеи расстилали на ступенях под их собственным тентом, тогда как все прочие довольствовались взятыми напрокат коврами и стульями и ужином из ресторана. Они также ввели правило, чтобы дамы снимали мантию в передней, а не тащили их наверх в спальню хозяйки и не грели щипцы для завивки волос на газовой горелке; Бофорт будто бы даже как-то высказался в том духе, что, насколько он понимает, все подружки его жены держат служанок, которые перед отъездом из дому заботятся об их *coiffures*¹.

¹ Прическах (фр.).

СОДЕРЖАНИЕ

ЭПОХА НЕВИННОСТИ

Перевод М. Беккер

КНИГА I	5
КНИГА II	183
Примечания	368